ВЕРНИСЬ, ПАМЯТЬ, В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ

Iľja Galajda

„Все прошло, все взяли годы“
Ф.И. Тютчев

Я все надеюсь на свою хорошую память, но она с каждым годом все больше и больше изменяет мне, порой подводит под монастырь, но как ни бьюсь, как ни стучусь в ее ворота, она не пускает меня в свои тайники, только время от времени проявляет ко мне благосклонность и скупым жестом разрешает мне ясно увидеть отдельные фрагменты событий из прожитого мною. Бывают случаи, когда она, проказница, такое насочиняет, не подтянув поводья фантазии, что сам себе удивляюсь, откуда все это берется. Поэтому всегда надо сомневаться в правдивости воспоминаний, в том числе и моих. Они часто, в зависимости от замысла, превращаются в легенды и «жития святых». Вряд ли кому удалось на свете написать всеобъемлющий дневник своей жизни, которой бы вместился в Книгу Судеб человеческих, но так или иначе каждый человек пишет книгу своей судьбы, запечатлевает свои взгляды и отношения к окружающему его миру. Так складывается мозаика - сложные „Картинки с выставки“ жизни без конца, пока не исполнится пророческое „Откровение» Иоанна Богослова,

„Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!“

Надеюсь, что строгий читатель простит мне эту тривиальность – повторение истин, но какой-то настойчивый внутренний голос заставил меня высказать все это, прежде чем приступить к написанию воспоминаний о былом, когда, как сказал поэт, „младое племя нас, друзья, и наше время давно забвеньем занесло“.

... На кафедру русского языка и литературы я попал, а вместе со мной и Надежда Александровна Чорна в сентябре 1960 года, когда была уже основана кафедра, после разделения Филологического ф-та Высшей школы педагогической в 1959 году на Пединститут и Философский ф-т Университета им. П.Й. Шафарика. Будучи редактором журнала „Дукля“, я был знаком с Андреем Михайловичем Червеняком, Павлом Ивановичем Шимой, Йосифом Андреевичем Дзурендой, Ниной Павловной Щипанской, Ильей Васильевичем Волощуком и Степаном Васильевичем Добошом, с того времени заведующим кафедрой. Случилось так, что на летних курсах для студентов-заочников Илья Васильевич по каким-то мне неизвестным причинам не смог прочитать курс лекций по литературе. Поэтому, должно быть, по предложению Андрея Михайловича, Степан Васильевич предложил мне заменить Илью Васильевича. Я согласился. Лекции мои понравились студентам, судя потому, что на последней лекции они отблагодарили меня аплодисментами, да впридачу ещё и подарком – фарфоровым стройным конем. То ли это был намек, то ли проявление добросердечности, но больше в жизни такими аплодисментами со стороны студентов я не был награжден. Видимо, это обстоятельство и решило мою дальнейшую судьбую: Степан Васильевич предложил мне подать заявление о принятии на кафедру.

Так я очутился в старом здании бывшей греко-католической семинарии, которое позднее городские власти велели сломать и убрать памятник Александру Духновичу, освободив место для постройки чудовищно аляповатого здания театра, напоминающего мне саркофаг. Тут на долгие годы свела меня судьба с Михаилом Михайловичем Миклушом, коротко – с Андреем Дуцаром, который вскоре должен был уйти с кафедры из-за каких-то неполадок с партбилетом. Через некоторое время и Павел Иванович Шима перебрался в Братиславу или Оломоуц к своему научному руководителю, Александру Васильевичу Исаченко. Постепенно начали прибывать на кафедру новые силы: Юрий Цигра, Михаил Вархола, Мирон Сисак, Магда Кочи, Валентина Коваль, Ева Мушинка, Юлиус Рыбак, Николай

Ксеняк, Юрий Панько, Михаил Рогаль. Спустя некоторое время Ева Мушинка покинула кафедру по семейным обстоятельствам, намного позднее убыл и Николай Ксеняк директорствовать в среднюю школу в Ружомберок...

В таком составе кафедра действовала долгие годы, как более-менее дружная веселая семья со своими радостями, страстями и спорами, особенно два раза в году, когда власти подкидывали нам „кость“, так называемые премии, чтобы погрызться, вызвать обиды и недовольство у коллег из-за дележа. Эти страсти разгорались особенно после 1970 года, когда под давлением внешних роковых обстоятельств произошло размежевание кафедры на сохранившихся в партии и „опальных“.

Страсти постепенно утихомиривались, взаимоотношения налаживались, и мы все дружно погружались в подготовку занятий и надоедливое составление планов научно-исследовательской работы, индивидуального идейно-политического роста, работы в общественных организациях под „мудрым“ и всевидящим оком партии в годы разоблачения культа личности и мнимой хрущевской оттепели, которая приплывала постепенно в наши края. Оттепель позволила нам даже вслух пофилософствовать, очутившись на время в положении щедринского Карася-идеалиста, возвышенного правдоискателя, веря в то, что мирной пропагандой добра и справедливости можно „самую лютую щуку в карася превратить“, забывая при этом, что суть власти не меняется, что она построена на словах, отравленных классовой ненавистью, на недоверии, на подозрениях и доносах. Они стали всеобщим народным достоянием. Надо было проявить стойкость, чтоб не заболеть этим пороком. Я выстоял и сердцем, я спокоен. Я не выслуживался, ни на кого не доносил. Запомнился мне случай, когда один человек с другой кафедры, пользовавшийся плохой репутацией, открыто заявил, что для него честь доносить в партию.

Хорошо помню случай из личной жизни. В конце ноября 1962 года поздно вечером ко мне громко постучали двое незнакомых и велели собраться. Жена моя, сидя у кроватки больного ребёнка с высокой температурой, испуганно

смотрела то на меня, побледневшего, то на незнакомых. Я только успел сказать ей, чтоб не беспокоилась, что это какое-то недоразумение... Отвезли меня в серое здание облисполкома и там в каком-то полутемном помещении в присутствии какого-то третьего, видимо, начальника, начали допрашивать меня, направляя в глаза сильный свет настольной лампы. Все сводилось к тому, чтоб я сознался в том, что работаю на японскую разведку. Три часа нелепых утомительных вопросов все вокруг да около Японии. Дело в том, что органы госбезопасности давно, как выяснилось, со второй половины 1958 года следили за моей перепиской с японскими друзьями: Коици Охарой, Хироси Кимурой и Хисанао Мамои, известными переводчиками произведений русских писателей на японский язык. С ними я познакомился в Москве на „Международном семинаре по изучению русского языка и литературы“. Там мы договорились о совместном плане перевода чешских и словацких писателей на японский язык посредством моего перевода на русский язык. Органы госбезопасности перехватывали наши письма, основательно их, должно быть, перечитывали и старательно заклеивали. Я объяснил все, ничего не скрывая. Потом с их стороны возникла упорная попытка затянуть меня в свои сети, обещая мне карьеру разведчика за молчание. На этом переписка кончилась, но ещё следили за мной „хвосты“.

После этого случая мне стали понятнее осторожность в поведении и рассудительного Йосифа Андреевича, и добросовестно испольнительного Степана Васильевича, и молчаливого Ильи Васильевича. Нет, они не были трусами. Это нелегкие жизненные перипетии заставили их быть такими. Я это почувствовал в откровенных личных разговорах с ними. Помню, когда в жарких спорах вокруг „Одного дня Ивана Денисовича“ Солженицына Илья Васильевич многих поразил и возмутил своим высказыванием: „Советские лагеря самые гуманные в мире“. А разве он мог в то время в наших условиях рассказать открыто о том, как его, лагерника-доходягу, полумертвого, отнесли в мертвецкую и бросили на земерзшие трупы, а он, придя в себя, пополз по трупам и дополз по барака, где добрая душа – медсестра его выходила и

спасла. О виденном и пережитом ему надо было молчать. Малодушие ли это? А может, благодарность за спасение жизни? Кто его знает?

К приходу Пражской весны мы постепенно избавлялись от общественной шизофрении: одно думать, другое говорить. Началось вольнодумство „карасей-идеалистов". Надолго ли? Вот прошёл праздник Первомая без прежних бутафорий и аллегорий, без оплачиваемых знаменосцев, без организованных выкриков славы перед трибунами, на которых недавно стояли с иконостасами медалей на груди разные чины. На трибуне уже новая партгарнитура... Люди впервые после стольких лет добровольно без страха вышли встречать Первомай. Хорошо помню тот день. Несмело накрапывал тёплый майский дождик, а люди шли и шли, проходили возле трибуны с улыбкой. Тогда казалось мне, что больше не придётся мне, как раньше, писать объяснительную записку декану о том, почему я не участвовал в первомайской демонстрации вместе с факультетом, а отмечал Первомай где-то там, в Медзилаборцах...

Медленно проникал дух новых веяний в нашу провинцию. Не помню, кто обратился в конце июня к нам за помощью послать в Интру переводчиков на Фестиваль дружбы советской и чехословацкой молодёжи. Тогда, кажется, пражские и братиславские русисты отказались от этой работы. Хорошо помню только, что мы (Михаил Рогаль, Мирон Сисак, Михаил Вархола, Юрий Цигра и „примкнувший к нам" Владимир Волощук) отправились в Нитру на двух автомашинах. Туда уже прибыла большая группа комсомольцев во главе, кажется, с Тяжельниковым. В состав делегации входили также генерал Лелюшенко и лётчик-космонавт Адриан Николаев. Это не был фестиваль дружбы, скорее, фестиваль конфронтаций идей и острых, горячих споров в сложившейся напряженной обстановке. Мы с Мироном Сисаком с первого дня фестиваля работали в пресс-центре вместе с советскими корреспондентами. Помню, как нам поручили спешно перевести на русский язык „Две тысячи слов". Мы начали переводить, но советская сторона тоже не дремала. Когда мы перевели почти половину текста, из штаба

фестиваля нам сообщили, что у советских корреспондентов перевод уже на руках...

Потом меня назначили переводчиком для летчика-космонавта, поскольку, как выяснилось, красивая блондинка, прикрепленная к нему переводчиком, вела себя несколько развязно... По составленной кем-то программе мы в сопровождении личной охраны космонавта, Михаила Севрина, отправились в Банску Быстрицу, где нас дружелюбно встретил сам первый секретарь крайкома партии – Пирошик. В его сопровождении мы побывали на заводе в Подбрезовой, поднялись на гору Хопок на подвесной дороге, оттуда спустились в Деменовску пещеру, которая произвела на космонавта большое впечатление. Ещё больше повеселело его серьёзные лицо, когда мы вышли из пещеры. Согрева ради ему, непьющему, пришлось выпить вместо чая рюмку липтовского „грятво“. Хорошо врезались в память дружеские встречи с космонавтом в Липтовском Микулаше, на заводе в городе Дубница и в Братиславе... На прощание 28 июня 1968 года лётчик-космонавт подарил на память моему сыну Серёже книгу Николая Островского „Рожденные бурей“ с пожеланием отличных успехов в учёбе, большого счастья в жизни. Такое не забывается.

Политическая обстановка в стране накалялась. Продолжалась попытка проломить, как сегодня принято говорить, тоталитарный режим партии через „социализм с человеческим лицом“. И все полетело не в ту сторону. Надвинулся „Девятый вал“ и многих похоронил в своей пучине. Событие двадцать первого августа всех нас ошарашило: были введены в нашу страну войска Варшавского договора для подавления „контрреволюции“...

Отношение к случившемуся у нас были разные в зависимости от накала, от всплеска эмоций. По-разному мы вступали в разговоры, убеждая вспотевших от горячего августовского солнца солдат, сидевших на танках и бронетранспортерах о том, что здесь нет контрреволюции. Умные люди Андрей Червеняк и Юлиус Рыбак. В приподнятом настроении они спорили, не обращая внимания на присутствие разных людей, которые не только

любопытствовали, но и старательно следили за всем и всеми. По кафедрам ретивые тайно начали собирать на коллег „компроматы“...

В конце сентября Министерство по делам школ мне предложило (наконец-то!) стажировку в Москву по написанию кандидатской работы. Посоветовавшись с Андреем Червеняком и женой, я дал согласие и в той напряженной обстановке уехал в Прагу, а оттуда самолётом в Москву. На борту самолёта нас оказалось трое: я, проф. Иван Сердула и какой-то работник СЭВ-а. В Шереметьевском аэропорту на нас посмотрели с некоторым подозрением, мол, что за птицы прилетели.

Сегодня мои коллеги могут с гордостью сказать, что не пропал их труд „и дум высокое стремление“, но тогда вряд ли стоило поступать так опрометчиво. Многие из нас не учли, что время простой правды и сопротивления потеряло всякий смысл. Настало время „нормализации“, время новых подслушиваний, доносов, личных счётов, проверок и партчисток. Строптивых и амбициозных вольнодумцев стала ломать до перелома сознания партмашина с ретивыми услужниками с новой мимикрией, которые старались изо всех сил тяжелым молотом страха вдолбить в головы людей неизменные идеи марксизма-ленинизма. Многие из моих коллег поплатились за свои принципы и взгляды долгими годами унижения с клеймом неблагонадежности. От них, как от прокаженных, многие правоверные и проверенные отворачивались, при встречах спиной поворачивались. Был исключен из партии и уволен с работы Андрей Червеняк, а вслед за ним и Юлиус Рыбак. На кафедре, как и на факультете, складывалась очень тяжелая атмосфера. Постепенно люди начали осознавать свою обреченность и безвыходность. Уже, как и прежде, новые эшелоны партийной власти сказочно высоко сидели, далеко глядели, нетерпением горели показухой втирать очки миру светлой дружбой народов лучезарными далями коммунизма, прибирая к рукам низы, загнав их в идейно-политическое воспитание. Мы все постепенно обалдевали от этого „ИПЕВЕ“, от болтовни, от талдычения фраз, а неутомительные услужники своим

угодничеством и лестью выслуживались перед высшей партноменклотурой, усердно прорываясь к должностям, доцентурам и профессурам. До того времени мне казалось по наивности моей, что образование – это не услуга партии, что это стратегия государства на будущее народа, но оказалось, что это только мои светлые иллюзии. Все понеслось, все покатилось не в ту сторону. Тогда мне часто приходилось в разных ситуациях повторять в мыслях слова поэта, чтоб в созданной фиктивной свободе сохранить хотя бы внутреннюю свободу:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят они
Безмолвно, как звезды в ночи –
Любуйся ими – и молчи.

Может быть, кому-то покажется это трусостью. Нет, это было осознание мной ситуации. Я понял, что „всюду страсти роковые и от судеб защиты нет“. Хорошо помню, как один из моих коллег подал иск в суд на руководство факультета по поводу увольнения его с работы из-за какого-то студента-протекциониста. Разумеется, что правым оказался не он, а власти. Какая это была наивность со стороны коллеги добиться справедливости у суда, всецело подчиненного партии! Хорошо помню, как меня без вины виноватого партруководство факультета старалось очернить и обвинить в том, что я польскую контрреволюцию „Солидарности“ распространяю у нас...

В моих воспоминаниях много грусти и печали, потому что и сегодня „для веселия земля наша мало оборудована“. Может быть, кто-то напишет светлые фрагменты нашей жизни на кафедре. Они, конечно, были. Надо только кому-то настроиться на веселую волну, позабыв все плохое. Может, сбудется, не забудется...

Ушли с кафедры по семейным обстоятельствам Мирон Сисак и Михаил Рогаль, ушёл преждевременно из жизни Степан Васильевич, вышёл на пенсию Йосиф Андреевич и Илья Васильевич. С тех пор часто стала подкрадываться к

сердцу грусть-тоска из-за суеты мирской... После смерти Степана Васильевича временно исполнял обязанности заведующего кафедрой Михаил Вархола, но он был при всех стараниях „в опале“. Это место должен был занять член партии в звании доцента. Я не знаю и не понимаю, по какой причине не согласился на эту должность Михаил Миклуш. Пришлось согласиться мне. Я уже прошёл „одобрям“ по всем высшим инстанциям власти, но не тут-то было. Неожиданно на эту должность явился новый претендент – Семен-дипломат, который вернулся из Киева. Надо было услужливого Семена как-то устроить. Где-то там на берегу водохранилища Ширава, должно быть, при веселом застолье высшие эшелоны власти и благословили его на эту должность, но у Семена не оказалось ни звания кандидата наук, ни звания доцента. После такого фиаско Семен стушевался и вернулся на круги своя, на педфакультет. Власти нашли выход из положения. Они провели „товарообмен“. Галина Михайловна Банишева, которая приехала к нам из Иркутска работать лектором русского языка и ставшая членом кафедры в годы „нормализации“, была направленна на педфакультет, а Иван Гирка оттуда к нам на должность заведующего кафедрой... и понесло нас неуклонно, неудержимо в иную сторону, к неизбежным новым потрясениям...

Не взирая на все, что томило меня, что исполосовало душу мою болями и печалями, – я счастлив. Я часто повторяю слова поэта Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

А пересуды обо мне я принимал и „приемлю равнодушно“. Все это сказано мною не в обиду друзьям, товарищам и коллегам по кафедре и не в своё оправдание. Пусть не осудит меня за эти осколки памяти „младое племя, незнакомое“. Я вспомнил наши нелёгкие годы, молодые по щедрости ещё живой памяти.